

ЮРИЙ ПАХОМОВ

ЧЕРДАК ОСЕДЛОЙ КОШКИ

Воспоминания о людях и судьбах

1. Мой двойник из прошлого (вместо предисловия)

О двойниках Сталина, Гитлера или, скажем, Саддама Хусейна написано немало. Ходили слухи о существовании двойников Ельцина... Я же, слава Богу, не президент, не диктатор, но, как оказалось, есть двойник и у меня. Точнее, был во времена отдалённых. Как я узнал о его бытии?

История это давняя, и начну я издалека.

В марте 1978 года мне позвонил из Ленинграда заведующий отделом прозы журнала "Звезда" Александр Семёнович Смолян и сказал, что моя повесть "К оружию, эскулапы!" принята, дать её планируют в одном из летних номеров, но так как она связана с военной темой, необходимо срочно поставить штамп военной цензуры. "Юра, вы там поближе к начальству, – сказал Смолян, – сходите на Кропоткинскую и постарайтесь устроить всё быстрее. Рукопись с письмом я сегодня же отправлю с оказией".

К начальству я действительно был поближе, в повести своей не видел ничего крамольного, поэтому отправился на Кропоткинскую, где размещался главный военный цензор Министерства обороны, с лёгким сердцем. День выдался солнечный, весенний, с крыш капало, тенькали синицы, и в воздухе стоял едва уловимый запах мимозы.

Процедуру я представлял просто: цензор полистает рукопись, пожмёт мне руку в знак одобрения и шлёпнет жирную печать на титуле повести. Оказалось, что пройти к цензору нельзя, нужно позвонить по внутреннему телефону, после чего опустить рукопись в специальный почтовый ящик, установленный здесь же, в сумрачном фойе. Попытка объясниться ни к чему не привела. Суховатый голос раздражённо пояснил: "Таковы правила!"

Дня через три цензор, капитан первого ранга, сам позвонил мне домой и сказал, что повесть ему очень нравится. Морскую практику на учебном корабле "Комсомолец", оказывается, мы проходили с ним в одно время, и он хорошо всё помнит. Да и другие эпизоды повести выписаны достоверно и с юмором. А несколько дней спустя меня вызвал заместитель начальника политуправления ВМФ, контр-адмирал Петров, и сказал: "Тут на тебя "телега" пришла, ознакомься".

Игоря Николаевича Петрова я знал ещё по Северному флоту. Энергичный, весёлый, прямой офицер, до политуправления служил на подводных лодках в разных "дырах", вроде Гремихи, а там человеческие качества сохра-

няются дольше. Неожиданный взлёт его карьеры меня, признаться, удивил.

Контр-адмирал положил передо мной письмо, подписанное главным цензором Министерства обороны. От того, что было написано в письме, ощутило повеяло запахом камеры в Бутырках или в “Матросской тишине”, где, как вы понимаете, пахнет не мимозой...

Понятно, о публикации повести и речи не могло быть, а вот с автором следовало разобраться.

— И что теперь делать? — с ознобом в голосе спросил я.

— А ничего. Я повесть прочёл, мне понравилась. Придираться к тому, что матросы во время похода пьют сухое вино, глупо. Подводникам по норме положено сухое вино. Дальше — в таком же роде. Цензоры лезут не в своё дело, перестраховщики. Я ответ подготовил, даю “добро”.

Вспомним, что дело происходило в конце семидесятых годов, и на подобный шаг мог решиться только мужественный, убеждённый в своей правоте человек. Впрочем, Петрова вскоре из политуправления ВМФ убрали — не нужны там были светлые головы.

Повесть вышла. Возникла предгрозовая пауза, до меня докатывались самые разные слухи, но тут “Правда” неожиданно опубликовала положительную рецензию на повесть. Рецензию подготовил сотрудник военного отдела газеты, ныне широко известный поэт и бард Виктор Верстаков. Отзыв в столь высокой инстанции делал меня теперь не только неприкасаемым, но я как бы становился официально признанным писателем.

В ту пору с лёгкой руки стареющего генсека в моду вошли поцелуи и объятия при встречах. Я в буквальном смысле слова был зацелован в политуправлении ВМФ и избегал посещать это учреждение. Но этим не кончилось. Как то меня, автора известной повести, пригласил заведующий военным отделом “Правды”, контр-адмирал Тимур Аркадьевич Гайдар, и заказал очерк о Военно-медицинской академии: история, современность, продолжение традиций и прочее. Хотел бы я видеть литератора, который в те времена отказался бы от такой возможности! Вечером того же дня я сидел в читальном зале Государственной библиотеки имени Ленина и перелистывал заказанные книги. Среди них меня заинтересовала аккуратно переплетённая книжница “На память дорогим товарищам” — очерк, посвящённый юбилею врачей, закончивших Военно-медицинскую академию в 1860 году. Я закончил академию в 1960 году, и мне было интересно узнать об однокашниках с разницей в сто лет.

Автором-составителем книги был некто Пётр Алексеевич Илинский. К очерку прилагались краткие биографии участников юбилейной встречи, их послужные списки. Прочитав жизнеописание самого автора-составителя, я испытал что-то вроде лёгкого потрясения — настолько отдельные вехи его жизни совпадали с моими: мы в один год (разумеется, с разницей в сто лет) родились, в один год выпустились из академии, в один год вернулись в Петербург на усовершенствование. Илинский, как и я, эпидемиолог, писатель, статский советник, что равно было моему тогдашнему званию. Были и другие совпадения.

Помнится, я пережил несколько тревожных минут: не сама ли Судьба вдруг открылась передо мной, позволив заглянуть в будущее? Хорошо, если Пётр Алексеевич прожил долгую жизнь и отошёл в мир иной в кругу семьи и близких, а вдруг земной срок у него иной, короче, и, прибавив сто лет, определю я точную дату и своего конца? А заодно узнаю и причину. Признаюсь, когда я мчался в Центральную научную медицинскую библиотеку, где, как мне сообщили по телефону, в персоналиях на П. А. Илинского хранится некролог, у меня, что называется, тряслись поджилки. К счастью, мои опасения не подтвердились. В дальнейшем совпадения пошли столь густо, что впору было перекреститься. Выяснилось, например, что дети у нас родились в один год, только у Илинского сын, а у меня дочь. Типография купца второй гильдии Шмидта, где печатались книги Илинского и где набиралась его газета “Врачебные ведомости”, размещалась в подвале дома номер шесть на улице Галерной (ныне Красной). А именно в этом доме, на четвёртом этаже мы с однокурсником Шурой Орловым снимали комнату. И так далее.

Я по-настоящему увлёкся поисками, и дело не только в игре в “чертовщину”, когда совпадения вызывают тревожный холодок внутри, — я вдруг обрёл вкус к работе в архивах и острый интерес к отечественной истории. По мере того, как накапливался материал, передо мной проступала биография

человека, немало сделавшего для России и незаслуженно забытого. Приведу лишь отдельные эпизоды его биографии. Илинский, будучи председателем Петербургской врачебной общины, первым в столице (да и в России тоже!) ввёл ночные врачебные дежурства; первым стал издавать санитарно-просветительную газету “Врачебные ведомости”, предназначенную для широкой публики. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов совместно с Николаем Ивановичем Пироговым разработал и на практике осуществил систему эвакуации раненых и больных по назначению, при нём впервые в морских портах были развёрнуты санитарно-контрольные пункты – барьер на пути инфекций.

Пётр Алексеевич Илинский был широко известен и как писатель. Имя его упоминается не только в Зубовском справочнике “Врачи-писатели”, но и вошло в знаменитый словарь Брокгауза и Ефрона. Литературных премий, насколько я знаю, тогда не было. Да и дико звучит: “Достоевский – лауреат премии... кого?” Замечательная книга Илинского “Русские женщины в войне 1877–1878 гг.” отмечена особо: автору пожалован перстень с руки императрицы Марии Фёдоровны.

А люди, с которыми работал, дружил, общался Илинский! Какие имена! Зинин, Руднев, Бородин, Пирогов, Доброславин, Склифосовский, Гаршин, Эрисман и многие другие. А какой пласт истории открылся уже при первых моих неумелых срезах огородной лопатой. Илинский позвал меня в дорогу, я побывал в местах, где он родился, работал, жил: село Селихово Тверской области, Кострома, Нерехта, Юрьев-Польской, Петербург. И везде я встречал настоящих подвижников – историков, священнослужителей, краеведов, бережно, по крупицам собирающих историю Родины. И когда сейчас говорят о гибели России, её культуры, я лишь усмехаюсь, вспоминая лица, встреченные в пути.

Очерк о Военно-медицинской академии для “Правды” я тогда так и не написал, зато написал роман о докторе Илинском. Там есть сценка, где я встречаюсь со своим “двойником”. Приведу из неё выдержки.

“... Мы стремительно неслись по набережной Невы, слева тускло блеснул шпиль Петропавловской крепости, отгремел под колесами Литейный мост. Со временем происходили загадочные вещи: стрелки часов вращались в обратную сторону. Илинский молчал. Справа, у Финляндского вокзала, небо внезапно порозовело, а когда мы подъехали к административному корпусу Военно-медицинской академии, стало совсем светло. “Волга” остановилась. Я открыл дверцу и помог Илинскому выйти. Он некоторое время молча разглядывал фасад старинного здания. За чугунной решёткой пластался туман, окна здания были темны, и только слева, на первом этаже, светилось окошко дежурного по академии.

– Альма-матер, матушка, – сказал Пётр Алексеевич и снял фуражку. Часовой у входа, молодой солдат, с любопытством посмотрел на нас. И вдруг Илинский запел слабым, дребезжащим голосом:

*Виват академия,
Виват профессорес!*

И песню подхватили сильные мужские голоса. Я с изумлением обернулся. Позади нас, на тротуаре, на мостовой, вперемежку стояли учителя и однокурсники, мои и Илинского. Я узнал по фотографии профессора Руднева, его поддерживал под руку профессор Соломон Вайль. Живые и уже ушедшие стояли рядом, чуть в стороне между тайным советником Архангельским и профессором Шостаком я увидел и себя самого. И не удивился.

– Славно, господа, славно, – растроганно пробормотал Илинский.

А песня всё ширилась, её подхватывали новые молодые голоса, и теперь казалось, что поёт вся Выборгская сторона. У входа в корпус висел большой транспарант: “Приветствуем участников встречи однокурсников выпуска 1860 и 1960 годов. Примите, дорогие коллеги, уверения в совершеннейшем к вам почтении!” Было совершенно светло, но на улице ни души. Остановились у памятника Сергею Петровичу Боткину. Какой-то маленький юркий человек в кожаной куртке, с видеокамерой выбежал вперёд и крикнул:

– Товарищи... господа, попрошу встать плотнее. И расслабьтесь! Потрясающе, кадры века!

Бледная, как утопленница, девица подошла к Илинскому и, сунув ему в лицо микрофон, спросила:

– Скажите ваше мнение о предстоящих выборах в Государственную думу. Пётр Алексеевич беспомощно взглянул на меня. . .”

Ничего сценка, да? В стиле умеренного постмодернизма. Жаль, что я эту сценку выбросил из романа.

Пётр Алексеевич Илинский похоронен на Смоленском православном кладбище. Там же упокоились няня Пушкина Арина Родионовна и святая блаженная Ксения Петербургская. Кладбище напоминает Ваганьковское, только менее ухоженное. Церковь справа за деревьями, ровные аллеи. До глубоких сумерек бродил я среди надгробий, вчитываясь в надписи. Могилы Илинского я так и не нашёл. Собственно, мой “двойник” и подвиг меня к написанию рассказов о военных врачах.

2. Одинокие сны академика

Когда я говорю молодым врачам, что слушал лекции академика Воячека, на меня смотрят, как на ископаемое. А я не только слышал голос Владимира Игнатьевича, но и ощутил на себе прикосновение его рук, тонких, сухих и лёгких, как крылья бабочки.

На втором курсе, зимой, нас, курсантов, частенько выгоняли на мороз скалывать лёд на тротуарах улицы Рузовской. В результате я простудился и с воспалением пазух носа угодил в академическую клинику отоларингологии, что и по сей день размещается в здании на улице Клинической. Сначала меня обследовал личный врач Сталина профессор Засосов. Огромного роста генерал, за одну ночь поседевший в тюрьме во время знаменитого “дела врачей”, гулким голосом спросил: “Ну что, морячок, будем долбить пазухи? Что морщишься?” А ещё через день меня осматривал седенький старичок с ласковыми глазами и манерами земского доктора. Я и понятия не имел, что это знаменитый академик, сделавший в области болезней уха, горла и носа столько, что последующим поколениям специалистов осталось лишь усовершенствовать его идеи. “Давайте с операцией повременим, уважаемый коллега, – сказал он мне, девятнадцатилетнему мальчишке, – сначала сделаем проколы, проведём консервативное лечение, а там посмотрим. . .”

В начале 1971 года на улице Клинической можно ещё было повстречать старичка в поношенной шинели с погонами генерал-лейтенанта. Слегка прищаркивая ботиночками, он медленно направлялся к зданию клиники, доставал из кармана ключ и открывал дверь парадного входа. Уже много лет этим входом пользовался он один. Персонал клиники ходил через гардероб, так было удобнее.

В кабинете Владимира Игнатьевича стоял его бронзовый бюст, и, когда академик усаживался за письменный стол напротив своего изваяния, сразу было видно, что бронзовое подобие значительно проигрывает подлиннику. У Воячека после того, как ему перевалило за девяносто, в лице появились черты, отмеченные тем духовным совершенством, которые можно было увидеть разве что у Оптинских старцев.

Как-то утром я шёл по Клинической улице и увидел Воячека у подъезда клиники – он, видно, никак не мог открыть дверь. Я подошёл и предложил помощь. Старик сконфуженно глянул на меня:

– Что-то ключ заедает. . . А может, сил нет.

Я нажал на старинную бронзовую ручку, легко повернул ключ – замок солидно щёлкнул и дверь отворилась.

– Спасибо, дружок. Как ловко у вас получилось. Вы слушатель факультета усовершенствования врачей?

– Так точно.

– И кто по специальности?

– Эпидемиолог.

Воячек удивлённо посмотрел на меня:

– Как странно. . . Я ведь тоже чуть было не стал эпидемиологом. И этой ночью как раз думал об этом. . .

Когда тебе за девяносто, сны кажутся реальной жизни. В них странным образом сохраняется прошлое: лица, события, краски, звуки и даже запахи канувшей в Лету эпохи. Лет пять назад, кажется, в канун девяностолетия,

он попросил молодого адъютанта отвести его в Мариинку, — нет, опера или балет ему уже были не по силам, — а просто постоять в фойе. Лучше бы он не ездил. Всё здесь было так, как и прежде, десятилетия назад, когда знаменитый театр был его вторым домом, но изменился запах, словно просторное фойе, коридоры, замысловатые переходы обработали дезодорантом, а потом долго проветривали. Вместе с запахами театр покинули и тени прошлого. Всё это, конечно же, была чепуха, старческая блажь. Но этой же ночью он увидел сон, настолько отчётливый, настолько ясный, что, проснувшись, долго лежал во тьме, ощущая на щеках слёзы. Он видел свой дом неподалёку от Театральной площади, отца, профессора Петербургской консерватории и капельмейстера Мариинского театра; они стояли вдвоём у распахнутого окна, внизу, в сквере цвела, благоухала сирень, а за спиной, в глубине квартиры сестра София исполняла скерцо номер два Шопена. Во сне не было обычной зыбкости, когда видения уплывают, раздваиваются, смещается сюжет. Была, пожалуй, только одна несообразность: он выглядел старше отца. Отец, поправляя на груди накрахмаленную манишку, спросил: “Ты, в самом деле, доволен жизнью?” “О да, я счастливый человек, отец”, — ответил он. Отец с укоризной глянул на него: “Занятия музыкой забросил? — В профессиональном смысле — да. Но играю... Скрипка, виолончель... Недавно сочинил “Вестибулярный вальс”. — Какое странное название...”

Этот сон стал началом целого цикла сновидений, и Владимир Игнатьевич уже без страха ожидал ночи, загадывая, кто же посетит его на сей раз. Иногда это были развёрнутые картины — он называл их “полотна” и пробовал даже записывать, — иногда небольшие фрагменты. Как в минувшую субботу: Пасха, ветреный апрельский денёк, голуби в ясном небе, перезвон колоколов, он, слушатель академии, и его учитель, профессор-биолог Холодковский, стоят на набережной Невы. Лёд сошёл, но изредка проплывают мимо рыхлые, изъеденные солнцем льдины. “Как поживает ваш батюшка?” — спросил профессор. “Здоров, слава Богу. Намедни спрашивал, над какой частью “Фауста” вы работаете...”

Иногда Владимир Игнатьевич думал: сны ли это? Или наполненные красками и звуками воспоминания? Мозг, привыкший работать с максимальной отдачей, отмирая, выплескивал напоследок потоки энергии, и они вспыхивали в сознании. Что-то вроде телевизионного эффекта. Когда живёшь почти век, уже ничему не удивляешься. Он помнил конку на Литейном, помнил выезд государя императора Александра Александровича... А вот уже Гагарин в космосе, и американцы на Луне... Майор, что помог ему сегодня утром открыть дверь, напомним, что в его, профессора Воячека, жизни, в которой, казалось, всё выверено до последней детали, всё же определённую роль сыграл случай. Было это, правда, давно, страшно подумать — в прошлом веке!

29 декабря 1899 года военный министр Куропаткин вручил выпускникам Военно-медицинской академии врачебные дипломы. Прощай, академия! Увязший в снегу лазарет 199 сибирского пехотного полка, лай собак по ночам, сиплый звук трубы, треск барабанов на утрамбованном плацу, серые тени солдат, ядрёный запах казармы и нескончаемый ручеек больных на приёмах.

Офицеры считали его, доктора Воячека, “военной косточкой” — строен, красив, подтянут, на коне сидит не хуже полкового командира, хоть сейчас назначай ротным — не оскандалится на маневрах. А то, что Владимир Игнатьевич водки не пьёт, так это даже оригинально, другие младшие врачи не просят, на приём придёшь, так тут же и закусить хочется. Непьющий лекарь — такая же диковина, как силач из второй роты унтер Агатов или полковой священник отец Иоанн, умеющий вещать чревом. А Владимир Игнатьевич к тому же музыкант, на скрипке играет.

С приходом Воячека в полк в офицерском собрании появились накрахмаленные скатерти, и денщики обрели образ Божий, перестали даже совать пальцы в тарелки со щами, подавая господам офицерам. “А ведь эдак, господа, мы и к культуре приобщимся, — сказал поручик Ракитин. — А культура, как известно, приводит к вольнодумству. Вы, любезнейший Владимир Игнатьевич, случаем, не бунтарь?” — “Был, господа, честно признаюсь”.

И вот надо же, заштатный полк посетил инспектор Главного военно-медицинского управления министерства обороны профессор Иван Фёдорович Рачевский. О Рачевском младший врач полка Воячек знал, что он крупный эпидемиолог, бактериолог; строг, суховат, но справедлив. После осмотра полка

столичный инспектор пригласил Воячека к себе. В комнате было жарко натоплено. Рачевский был по-домашнему, без сюртука, предложил молодому врачу сесть и сказал:

— Наслышан о вас от профессора Симановского, знаю, увлекаетесь отоларингологией. Так-с? А бактериологией заняться не хотите? В нашем управлении создана бактериологическая лаборатория. И есть вакансия врача. Ежели согласитесь, постараюсь побыстрее оформить ваш перевод. Сразу же оговорюсь: врачу-бактериологу не возбраняется заниматься болезнями уха, горла и носа. Не упустите возможность, коллега, вернуться к научным занятиям. Когда-то ещё такой случай представится?

Воячек согласился. Через месяц пришёл приказ о его переводе в Петербург.

Бактериологическая лаборатория помещалась в бельэтаже мрачного здания Главного военно-медицинского управления на Караванной улице. Сладковатый запах агар-агара, из которого готовили питательные среды для выращивания микробов, сухое потрескивание спиртовых горелок, в углу — стол профессора Рачевского, на стене — статистические графики, цифровые выкладки. В те времена это был единственный всероссийский эпидемиологический центр, сюда стекались данные об инфекционной заболеваемости в различных военных округах и губерниях обширной империи, отсюда отправлялись вакцины и сыроворотки. Магия цифр Владимира Игнатьевича не увлекала, его тянуло в клинику, к больным...

А то как-то приснился Кисловодск. Да так отчётливо. 1910 год, двугорбый Машук в голубой дымке, в недавно открывшемся павильоне “Храм воздуха” отдыхающие пьют кофе. Пёстрые шляпки дам, канотье мужчин, гуляние в парке и у игрушечного вокзала, слух, что вот-вот приедет Шляпин, а окраинные, карабкающиеся в горы улочки хранят память о поручике Тенгинского полка Лермонтове. Так и кажется: затрещат кусты шиповника и возникнет всадник на черкесской лошади. Праздные люди толпятся у странного сооружения: горы белого кирпича, изогнутые трубы, невиданные аппараты.

— Господа, что это такое строят?

— Какой-то ингаляторий, будут лечить людей сухим туманом.

— От чего лечить?

— От похмелья, милейший.

Стройкой руководит приват-доцент Военно-медицинской академии Владимир Воячек. Странно видеть себя со стороны. Кто же ему помогал тогда? Студент Борис Чунин, весельчак и прекрасный организатор. Он умер в восемнадцатом году от тифа...

Иногда его терзали сны о войнах: русско-японская, Первая мировая, финская, Великая Отечественная. Изуродованные лица, вырванные гортани, глухие, немые... Мертвенный свет софитов над операционным столом и жуткое ощущение, что многим ты не в силах помочь, а значит, твоя жизнь бессмысленна. В такие дни по утрам Владимир Игнатьевич был хмур, неразговорчив, сидел на экономку Наталью, ухаживавшую за ним, — опять прикасалась к письменному столу! — укладываясь спать, мечтал увидеть во сне Давос — маленький городок на северо-востоке Швейцарии, где довелось ему побывать в 1912 году, или Вену, клинику профессора Полицера и хорошенькую медицинскую сестру... Господи, как же её звали? Но опять снились война и эта жуткая эвакуация в Среднюю Азию, где он потерял жену. Тени, тени... Нет, человек не должен жить так долго, не должен переживать своё время.

На работе видения оставляли его, в клинике всё было привычно: обходы больных, практические занятия со слушателями, подготовка к операциям. Он уже давно не оперировал, но обстановка в операционной создавала иллюзию его участия. Наконец, можно было укрыться в своём кабинете. Воячек любил свой кабинет, где десятилетиями ничего не менялось — каждая вещь лежала на своём, обжитом месте, — где всё было под рукой, — а это важно, когда начинает сдавать память, — и где, казалось, ничто не подвластно времени. Смущал, пожалуй, бронзовый бюст, предназначенный изображать хозяина кабинета, но, по сути, — бездушный идол, символизирующий эпоху вождя, страдавшего гигантоманией. Когда Воячек увидел фотографию макета Дворца Советов, который собирались поставить на месте взорванного Храма Христа Спасителя, с ним впервые случился сердечный приступ. Если это капище дьявола утвердится в центре Москвы — России конец. И когда бредовая идея отпала, и на

месте котлована устроили бассейн, Владимир Игнатьевич, бывая в столице, обязательно сворачивал к этому сооружению. В бассейне, среди желтоватого, пропитанного хлором тумана возились чёрные, напоминающие мелкие картофелины в котле, люди, и он не без злорадства думал, что вот так же в аду будут вечно кипеть грешники, виновные в содеянном святотатстве.

Журналисты, слава Богу, перестали его беспокоить, а тогда, в девяностолетний юбилей, от них не было никакого спасения. Одна девица с крашенными хной волосами настойчиво добивалась ответа на свой вопрос: “Назовите самое значительное событие в вашей жизни”. Он задумался. Таких событий за девяносто лет произошло немало. Но “самое?”

Может, тот вечер, когда они с профессором Тонковым сидели у “буржуйки” в кабинете, ожидая звонка от наркома Семашко? Решалась судьба академии. Печка дымилась, и пламя толстой церковной свечи колебалось от сквозняка. За окном постреливали. Дрова Воячек добыл на вмерзшей в Неву барже и, добираясь до заснеженной Пироговской набережной, едва не угодил в полынью...

Или день, когда он узнал, что его назначили начальником академии? Пустое. К власти он никогда не стремился, новая должность только добавила забот. И он вздохнул с облегчением, когда освободился от этого бремени...

И вдруг вспомнил.

1903 год, май, холодный ветер с залива. Самая большая в академии аудитория кафедры химии – та самая, где читали лекции “дедушка русской химии” Николай Николаевич Зинин и профессор Александр Порфирьевич Бородин – заполнена полностью. Профессора, врачи, студенты. Стоят даже в проходах. С минуты на минуту должна состояться публичная защита докторской диссертации. Но не имя скромного соискателя вызвало такой ажиотаж. Главный цензор диссертации – профессор Иван Петрович Павлов, он и выступит с оппонентской речью, а его выступления всегда неожиданны.

Учитель Воячека Симановский сказал накануне о Павлове: “Учитель, голубчик, он любознателен до въедливости и прям до резкости”. С Павловым соискателю уже приходилось встречаться. Несколько месяцев назад Владимир Игнатьевич обратился в Общество русских врачей с просьбой разрешить ему сделать доклад на одном из заседаний, сообщить о результатах произведённых им исследований вестибулярного аппарата человека с помощью сконструированной им центрифуги. Председатель Общества профессор Павлов обещал подумать и на другой день неожиданно сам явился в мастерскую при клинике.

– Вот что, любезный коллега, покажите-ка мне вашу штукину в действии, – сказал лауреат Нобелевской премии и стал снимать сюртук.

– Иван Петрович, ведь здесь не прибрано, испачкаетесь.

– Полноте, полноте. Нам ли, физиологам, грязи бояться. Прокатите на этом чёртовом колесе?

– Как пожелаете.

– Пожелаю. А как иначе пойму?

Профессор встал на колени и принялся рассматривать станину центрифуги, осматривал дотошно, приборматывая: “Так-с, понятно. Умно, ничего не скажешь...”

Встал, вытер руки ветошью:

– Неужто сами смастерили?

– Отдельные узлы заказывал. По моим чертежам рабочие делали. Опытный образец, оттого и нескладна карусель.

Павлов вцепился в бороду, хмыкнул:

– Станину я бы укрепил. А так – прекрасно. Редкий, знаете ли, случай, когда врач с техникой управляется. Кстати, откуда у вас такая необычная фамилия – Воячек?

– Отец – чех.

– Понятно. Так вот, я думаю, вы ещё не до конца оценили огромную значимость вашего изобретения. Авиация развивается, а главным в авиации, как ни крутите, все же человек остаётся, с его вестибулярным аппаратом. Что ж, как говорили древние: “Через тернии – к звёздам!” Ждём вашего доклада на ближайшем заседании Общества...

Свою речь на защите диссертации Воячек не запомнил, от волнения периодически начинало звенеть в голове, как перед обмороком. А вот заключение

Павлова запомнилось на всю жизнь: “Главная ценность рассматриваемой диссертации – в её соответствии понятиям современной научной физиологии. А это, господа, огромный шаг вперёд!”

По-видимому, Владимир Игнатьевич на мгновение уснул, потому как ему открылся простор аудитории, сотни глаз были устремлены на него, а за окном – гранит набережной, отсекающий воронёную сталь Невы. Голос корреспондентки пробился сквозь немоту: “Простите, вам нехорошо?” А рядом – встревоженное лицо ученика, профессора Константина Львовича Хилова.

Воячек тихо рассмеялся:

– Самое главное в моей жизни, уважаемая, ученики. Да! И знаете, сколько их? Взвод докторов наук и, как минимум, два взвода кандидатов. Вполне боеспособное стрелковое подразделение.

Воячек скончался на моём дежурстве. Ещё в пять часов вечера, заступив помощником дежурного по академии, я видел старика, а где-то в начале четвёртого утра позвонила его экономка. Дежурный отдыхал, потому трубку взял я: тихий, увядший голос сообщил горестное известие. Сделав необходимые распоряжения, я разбудил дежурного, сказал ему о кончине академика и что нужно доложить начальнику академии.

Дежурный, подполковник с кафедры фармакологии, испуганно моргал глазами:

– Вы с ума сошли? Сейчас четыре утра, генерал ещё спит.

– Полагаете, будет лучше, если Николай Геннадьевич узнает о случившемся из других источников? Сомневаюсь.

Я учился на командно-медицинском отделении факультета усовершенствования врачей, сам собирался стать начальником, и нрав начальства мне был известен.

– Как хотите, но я звонить не буду. Боюсь.

Я набрал нужный номер и тотчас услышал знакомый голос, генерал, похоже, уже не спал. Выслушав меня, хмуро спросил:

– А где дежурный?

– Проверяет караулы. – Я подмигнул протирающему очки подполковнику.

– Хорошо, что вы мне позвонили. Спасибо. Нужна моя помощь?

– Основные распоряжения сделаны, товарищ генерал-полковник. Остальное – до утра терпит.

– Всего доброго, до встречи.

Начальник академии положил трубку, а у меня перед глазами возникла лёгкая, как бы уже лишённая плоти фигура старого академика, постепенно растаявшая в сумраке, затопившем Клиническую улицу.

3. Судьба женщины-врача. Первой в России...

Перелистывая газеты семидесятых-восьмидесятых годов прошлого столетия, я не раз встречал заметки о вдове известного профессора Военно-медицинской академии Руднева – Варваре Александровне Кашеваровой-Рудневой. Журналисты (особенно усердствовало “Новое время”) изображали её такой амазонкой, сотрясательницей общественной нравственности, к тому же не очень разборчивой в средствах для достижения своей цели.

Рядом с её именем часто упоминался слушатель Артиллерийской академии штабс-капитан Иван Сергеевич Поликарпов. Штабс-капитан, претендуя на руку вдовы, всячески афишировал близость к ней. Это, конечно же, шокировало общество.

Кашеварова, судя по всему, решительно отказала ему. Тогда влюблённый офицер написал на неё пасквиль, угрожая опубликовать его в печати и тем самым принудить Варвару Александровну к браку. Она не поверила, что офицер способен на подобную подлость. И зря! В трёх номерах газеты “Новое время”, издававшейся А. С. Сувориным (литературный редактор – небезызвестный В. Буренин), в сентябре 1879 года появились главы повести “Доктор Самохвалова-Самолюбова, или Записки человека трын-трава”. В повести, написанной в виде дневника офицера, излагалась история практикующей в Петербурге женщины-врача, доктора медицины.

Варвара Александровна – единственная в Петербурге женщина-доктор медицинских наук, так что у читателей не осталось сомнения, кто изображен

в повести. Особенно оскорбительными были намёки на обстоятельства, связанные с болезнью и смертью мужа Кашеваровой-Рудневой. Авторство Поликарпова было очевидно. В “Новом времени” и “Петербургской газете” одна за другой публикуются грязные инсинуации. Повесть “Доктор Самохвалова-Самолубова...” начала печататься в “Новом времени” 9 сентября, а уже 16 сентября 1879 года в газете “Новости” один офицер с возмущением писал: “Автор упомянутого фельетона – офицер, и подобное проявление безнравственности не может и не должно быть оставлено безнаказанным. К суду его общества офицеров!”

11 сентября 1879 года литературный критик М. А. Антонович выступил на страницах газеты “Молва” с открытым письмом А. С. Суворину, издателю “Нового времени”, и очень резко высказался против помещения в газете “литературной мерзости”.

“Новое время” обрушилось на Антоновича, а заодно и на Кашеварову-Рудневу. Варвара Александровна прибегла к помощи присяжного поверенного П. А. Александрова, того самого, кто в 1878 году выиграл процесс Веры Засулич, и привлекла автора пасквиля и редакторов, повинных в его опубликовании, к судебной ответственности. Дело должно было слушаться в августе 1880 года, но было отложено. Наконец, 27 января 1881 года в Петербургском окружном суде начались слушания этого громкого дела. На скамье подсудимых редактора “Нового времени” Фёдоров и Буренин, автор пасквиля штабс-капитан Поликарпов и редактора “Петербургской газеты”. Суд признал всех обвиняемых виновными в диффамации, приговорил их к денежному штрафу и кратковременному тюремному заключению. Поликарпов же был присуждён к трехмесячному содержанию на гауптвахте.

Но травля Кашеваровой-Рудневой продолжалась. Буренин после отсидки публикует в “Новом времени” едкую статейку “Защитники лакомой вдовы”. К “Новому времени” присоединяется “Русский курьер”, и в 1881 году Варвара Александровна вынуждена была покинуть Петербург...

Меня заинтересовала судьба Кашеваровой-Рудневой, и я попытался воссоздать картины жизни этой яркой и незаслуженно забытой женщины.

Отставной солдат Егоров, служащий истопником в доме поручика Ивлева в Царском Селе, рано утром, как обычно, спустился в подвал за дровами. Осень стояла холодная, печи топили с конца сентября. Егоров засветил свечу и направился к дровянику. Вдруг откуда-то в темноте послышался стон. Солдат прислушался. Стон перешёл в жалобное поскуливание. “Никак сука ошенилась?” – подивился Егоров. Жёлтый язычок пламени дрожал на сквозняке. В сутеми проступило бледное личико девочки. Она лежала на каком-то тряпье. Лоб девочки горел, худое её и изголодавшееся тельце бил озноб. “Ото ж, птаха малая”, – содрогнулся солдат, осторожно взял девочку на руки и понёс в военный госпиталь.

В госпитале девочку обмыли, обрядили в нательную солдатскую рубаху и поместили в отдельную палату. Приговор докторов был суров: “Тяжёлая форма брюшного тифа. Не выживет”. А девочка выжила, и уже через месяц в коридоре и палатах слышен был её звонкий смех. “Колокольчик”, – ласково называли её нижние чины. Варенька стала всеобщей любимицей, и даже главный врач, суховатый немец Гольбе, при виде юной пациентки расплывался в улыбке.

О прошлом Вари Нафановой известно мало. Родилась она в 1843 году в местечке Чаусы Могилёвской губернии в многодетной семье. Отец, то ли сельский учитель, то ли чиновник, крепко пил, во хмелю был буен, избивал жену и детей. После одной особенно грубой сцены Варя ушла из дома, каким-то чудом добралась до Царского Села, нищенствовала, ночевала в подвалах, кормилась отбросами и, как результат, – брюшной тиф.

В госпитале девочку продержали три месяца. При выписке выяснилось, что ей некуда идти, да и не в чем. Офицеры купили девочке одежду и на первое время собрали деньги по подписке. А один поручик написал письмо в Петербург своему дяде, отставному моряку, в котором просил позаботиться о девочке. С этого момента и начинается хождение Вари по людям.

Отставной моряк оказался человеком добрым, но небогатым, обременённым большой семьёй. От него девочка переехала к его другу, пожилому холостяку, офицеру корпуса топографов, – тот часто уезжал в длительные экспе-

диции, оставляя Варю у дяди, чудака и изобретателя. А как-то всё лето она прожила у вдовы полковника в Пулково. Вдова снимала дачу у зажиточного крестьянина Прохорова, он-то и обучил девочку грамоте. Прохоров, видать, человек был зоркий, первым обратил внимание на необыкновенные способности девочки, отметил и черты характера: решительность, волю, независимый нрав. В дальнейшем девочка постигала науки сама – у топографа собрана была неплохая библиотека.

Как-то военный топограф, вернувшись из экспедиции, был приятно удивлён: воспитанница его расцвела, превратилась в барышню – красива, умна, начитана. Видно, в стареющей голове топографа слегка помутилось, потому как он стал за Варварой ухаживать, водил в танцкласс, дарил подарки, наконец, решившись, сделал предложение и тотчас получил отставку. А в сентябре 1860 года в Морском Богоявленском Никольском соборе Варвара Нафанова венчалась с купцом второй гильдии Николаем Степановичем Кашеваровым. Любовь? Не думаю. Скорее, желание обрести независимость. К тому же купец обещал не препятствовать обучению Вареньки. Обещание он, видно, и не собирался выполнять. Какое учение? Две мануфактурные лавки, дом на руках. Ничего: стерпится – слюбится. Не учёл Кашеваров нрава молодой жены, ушла, в чём была, вытребовав, однако, “отдельный вид на жительство”.

Дальнейшая жизнь Кашеваровой напоминает роман, в котором далеко не всё ясно. Поворот в её биографии начался с одного случая. Как-то по дороге из Ориенбаума Варвара познакомилась со студентом Медико-хирургической академии, тот рассказал ей о Повивальном институте при родовспомогательном заведении Петербургского воспитательного дома. Поступить туда трудно, требуется хорошая подготовка. А Кашеварова поступила, блестяще сдав экзамены. Более того, за восемь месяцев она одолела двухлетний срок обучения и на экзаменах обнаружила такие познания, что Конференция Медико-хирургической академии (отметим этот важный факт!) выдала ей свидетельство с отличием.

Судьба явно благоволила к новоиспеченной “повивальной бабке”. В дилижансе, курсировавшем между Петербургом и Парголово, она случайно познакомилась с важным чиновником Военно-медицинского ведомства. Между ними завязался разговор. Узнав, что Варвара только что окончила Повивальный институт, чиновник спросил, чем она намерена заняться. “Хотелось бы получить казённое место. Я знаю, это трудно, нужны знакомства, протекция... – Вовсе не обязательно, сударыня. В Оренбургский край служить поедете? Повивальной бабкой в Башкирское казачье войско? – Да хоть на край света! Лишь бы на кусок хлеба заработать!” Чиновник нахмурился: “Позволю напомнить, что Оренбургский край весьма отличается от Парголово. Степи, дикость. Женщины-магометанки в соответствии с законом веры отказываются от помощи докторов-мужчин, а заболеваемость сифилисом растёт. По Высочайшему повелению в крае созданы женские больницы, укомплектовываются они повивальными бабками, прошедшими усовершенствование на специальных курсах при Калининской больнице в Петербурге. – И что же? – Правление Башкирского казачьего войска направляет в Повивальный институт своих стипендиатов. Одна заболела, и место для поступления на курсы вакантно. За стипендию, сударыня, надобно будет отслужить в Башкирском войске шесть лет. Как? – Я согласна! Окажите милость, посодействуйте. Я за вас всю жизнь буду Богу молиться”.

Курсами руководил молодой ординатор Вениамин Михайлович Тарновский, впоследствии профессор Медико-хирургической академии. Не буду домысливать, какие отношения сложились между учителем и ученицей, известно лишь то, что Тарновский не раз защищал своенравную и дерзкую курсистку от гнева начальства. На выпускных экзаменах Варвара Кашеварова продемонстрировала блестящие знания. Председатель комиссии, профессор Медико-хирургической академии Пеликан, поздравил выпускницу с завершением курса. Человек суховатый, он даже растрогался. Но его ждал сюрприз: поблагодарив преподавателей, Кашеварова заявила, что оценки её знаний завышены, она плохо знает анатомию и физиологию, и попросила профессора помочь ей продолжить изучение медицины в качестве студентки Медико-хирургической академии. Женщина в... академии! Неслышанно! Чтобы отделаться от настойчивой курсистки, Пеликан пообещал посодействовать и ретировался. Варвару уже было не остановить. Каким-то чудом пробилась она на приём к вице-пре-

зиденту Медико-хирургической академии, “дедушке русской химии” Зинину. Добрейший Николай Николаевич рассердился, даже ножкой топнул, женских слёз всё же не вынес и посоветовал обратиться к начальству Оренбургского края. Расчёт старика был прост: помыкается девица по высоким инстанциям и остынет. Попробуй-ка к генерал-губернатору попасть! Не оценил профессор энергии Варвары Кашеваровой. Управление иррегулярных войск, кому подчинялось и Башкирское казачье войско, – в Петербурге. И вот туда и направился Тарновский с просьбой оказать содействие. В Управлении, видно, не разобравшись, посоветовали Кашеваровой написать прошение генерал-губернатору и даже помогли попасть к нему на приём. И опять удача! Оренбургский генерал-губернатор, генерал-адъютант А. П. Безак, вольнодумец и либерал, очарованный юной просительницей, начертал на прошении резолюцию: “Перед всеми, от кого это зависит, оказать содействие Кашеваровой”. А после нескольких месяцев непрерывной осады сдался и сам военный министр: “Повивальную бабу Башкирского казачьего войска Варвару Кашеварову оставить в Санкт-Петербурге для слушания лекций в здешней академии на один курс (пять лет), с производством ей того самого содержания, какое она получала, будучи прикомандированной к Калинкинской больнице, т. е. 28 рублей в месяц, и с тем, чтобы она по окончании занятий своих в академии выслужила в Башкирии установленный срок”.

Конференция академии, на две трети состоявшей из противников женского образования, ничего не оставалось, как определить: “Дозволить Кашеваровой слушать в Академии медицинские лекции в объёме одного 5-летнего курса”.

Шёл 1863 год. Варвара Кашеварова с удивлением убедилась, что в академических аудиториях она отнюдь не единственная женщина, правда, женщины присутствовали приватно, и начальство академии смотрело на это сквозь пальцы. Но уже весной 1864 года посещение лекций им было запрещено, причём в приказе военного министра специально указывалось, что исключение сделано лишь повивальной бабке Кашеваровой.

Верно, говорили древние: “Через тернии – к звёздам!” Терний на пути Кашеваровой оказалось немало. Слушать лекции – одно, а вот добиться сдачи полулекарского экзамена – совсем другое. Разрешая сдачу экзаменов, Конференция тем самым подтверждала факт, что Кашеварова является студенткой академии. Добилась!

Полулекарский экзамен был сдан превосходно. Оренбургское начальство в награду за успехи выдало стипендиатке значительную по тем временам сумму – триста рублей. Иная женщина накупила бы нарядов, украшений – Варваре всего двадцать два года! – но она на эти деньги во время летних каникул едет за границу, в Прагу, стажироваться по акушерству в клинике Зейферта, изучив предварительно немецкий язык.

У одарённой студентки определился интерес – патологическая анатомия. Практические занятия по патоанатомии вёл ассистент Михаил Матвеевич Руднев, в будущем профессор, имя которого будут ставить рядом с именем Пирогова. Молодой ассистент, увлечённый наукой, был немало удивлён, узнав, что его ученица Варвара Кашеварова знакома с его родителями, зимой наезжающими в Петербург, батюшка, протоиерей и заслуженный профессор Тульской духовной семинарии, даже пригласил её погостить летом в имении. Маленьке тоже Варя приглянулась: и красавица, и умница. Чем не жена Мише?

Замужество пока не входило в планы Варвары. Сначала нужно образование получить.

Параллельно с кафедрой патологической анатомии она стала работать в клинике акушерства и гинекологии профессора Краевского. Превосходное знание гистологии вскоре дало свои результаты. 16 сентября 1868 года Кашеварова выступила на заседании “Общества русских врачей” с научным докладом. Доклад был опубликован в петербургском “Медицинском вестнике” и в Берлине, в журнале Рудольфа Вирхова. Это стало сенсацией.

По ходатайству президента общества, профессора Якова Александровича Чистовича, с высочайшего разрешения министра внутренних дел Варвара Кашеварова, ещё не получив врачебного диплома, была избрана в действительные члены общества. Иван Михайлович Сеченов писал своей жене: “... Важен и выбор Кашеваровой в члены Медицинского общества. Рассудите сами, можно ли медицинскому миру яснее сказать своё мнение, чтобы женщина

была допущена к медицинскому образованию”. Но было немало и выступлений против Кашеваровой. Как же, женщина – учёный, за границей её печатают! Особенно усердствовал киевский журнал “Современная медицина”. В основе – страх врачей-мужчин перед реальной и опасной конкуренцией, ведь за Кашеваровой последуют другие...

Варвара переживала. А тут ещё неприятности: Конференция академии под различными предлогами не допускает к выпускным экзаменам. Пришлось снова обращаться с прошением к Оренбургскому генерал-губернатору Крыжановскому. Генерал-губернатор принял Кашеварову и написал о её деле военному министру Милютину с просьбой поддержать просительницу. В числе аргументов, приведённых Крыжановским, был и такой: “... госпожа Кашеварова как женщина может проникнуть во все мусульманские семейства и тем победить в среде мусульманских женщин постоянное уклонение от всякого медицинского пособия, в высшей степени вредно влияющего на быт башкирских семейств, страдающих во множестве сифилисом”.

Варвара Кашеварова сама пробилась на приём к министру. Резолюция министра была такова: “Медико-хирургической академии: представить заключение академии”.

Итак, Конференция академии, входящие в её состав профессора, были поставлены перед выбором: допустить Кашеварову к выпускным экзаменам или прослыть махровыми реакционерами. Порешили – студентку к экзаменам допустить.

Экзамены Варвара сдала блестяще. На экзаменационном листе секретарь Конференции Михаил Матвеевич Руднев рукой влюблённого написал: “Кашеварова признана в звании лекаря с награждением дипломом на золотую медаль”.

История свидетельствует: “9 декабря 1868 года военный министр утвердил определение Конференции о выпуске студентов. В тот же день состоялся выпускной акт. Когда учёный секретарь Конференции профессор Руднев, читая список окончивших курс врачей, назвал имя Кашеваровой и член Синода, митрополит Киевский и Галицкий, отец Арсений вручил ей диплом лекаря с отличием и диплом на золотую медаль, зал огласился аплодисментами. Военный министр лично вручил Варваре Александровне хирургический набор, высказав свою радость по поводу окончания ею курса”.

На получение первой русской женщиной врачебного диплома широко откликнулась пресса. Сообщения появились в европейских газетах и даже в нью-йоркской “Медицинской газете”. Казалось бы, в жизни Варвары Александровны всё определилось. Сергей Петрович Боткин пригласил её на свою кафедру ординатором, она вела частную практику, выезжала за границу.

В 1870 году, получив официальный развод от первого мужа, Кашеварова вышла замуж за Руднева. Молодые поселились на Фурштатской улице.

Михаил Матвеевич Руднев надеялся, что жена станет патологоанатомом, гистологом, но её привлекала практическая работа, общественная медицина. А недоброжелатели не унимались, по академии бродил слух, что всеми делами в Конференции управляет Кашеварова, а не учёный секретарь профессор Руднев. Из-за этой клеветы Михаил Матвеевич собрался уехать в Англию, – предложили кафедру, – жена не захотела покидать Россию.

Из академии Кашеваровой всё же пришлось уйти, устроиться на работу женщине-врачу в Петербурге было трудно, а вокруг Варвары Александровны создалось что-то вроде тайного заговора. Как же, первая женщина, получившая образование в России, да к тому же в Медико-хирургической академии! Прецедент опасный.

Летом 1871 года Кашеварову пригласили на работу в Железноводск. Она дала согласие. Обстановка несколько разрядилась. А в марте 1876 года возмутительница спокойствия представила в академию к защите докторскую диссертацию. Диссертацию рецензировал известный хирург Николай Васильевич Склифосовский и дал положительный отзыв. 25 мая 1876 года диссертация была блестяще защищена, и Кашеварова стала первой в России женщиной-доктором медицинских наук.

В 1877 году началась Русско-турецкая война на Балканах. И новая беда – заболел Руднев. Ещё недавно Михаил Матвеевич был энергичен, бодр, строил планы. Летом 1876 года супруги ездили в Филадельфию на Международный медицинский конгресс, а в апреле 1877 года Руднева словно подменили:

он потерял интерес к работе, с трудом проводил занятия, притих, ушёл в себя и как-то внешне весь потускнел. Варвара Александровна была в отчаянии. Она увезла мужа на родину, в Тульскую губернию, надеясь, что после отдыха состояние улучшится, но заболевание прогрессировало, и она вынуждена была поместить его в психиатрическую клинику академии.

В ноябре 1877 года Бородин писал своему ученику А. П. Дианину: “М. М. Руднев лишился рассудка...”

По поводу болезни Руднева упорно ходила версия, что виной всему его жена, эта она довела профессора до сумасшествия. И якобы существует письмо самого Руднева, проливающее свет на эти трагические обстоятельства.

10 декабря 1877 года Михаил Матвеевич Руднев скончался. Тело по завещанию должно было быть захоронено на родине профессора под Тулой. Когда гроб уже стоял в товарном вагоне, друзья отправились на Николаевский вокзал проводить Варвару Александровну. Стояла гнилая, с частыми ростепелями зима. С крыш капало. Кашеварова сказала Бородину: “Вы знаете, мужества мне не занимать... Со смертью Михаила кончилась и моя жизнь, смысл утрачен...”

Как я уже вначале говорил, в 1881 году, после травли в газетах и суда, Варвара Александровна покинула Петербург. Переехала она в глушь, на хутор Гольий яр в ста двадцати километрах от Харькова. Оттуда она с горечью писала Александру Порфирьевичу Бородину: “У меня ведь абсолютно никого нет...”

В 1884 году Кашеварова-Руднева в Харькове издала на собранные средства популярную книгу “Гигиена женского организма во всех фазисах жизни”, занялась литературной работой, написала серию автобиографических очерков, повесть “Пионерка”. И снова несчастье – во время пожара погиб архив её и мужа. Варвара Александровна вернулась в Петербург, но здоровье её было подорвано, друзей не осталось. В начале девяностых годов она навсегда покинула столицу, поселилась в Старой Руссе, где и умерла 28 апреля 1899 года. Похоронена Кашеварова-Руднева на кладбище Спасо-Преображенского монастыря.

4. Из жизни поэта, писателя, учёного...

В начале семидесятых годов, собирая материал для книги, я подолгу просиживал в фундаментальной библиотеке Военно-медицинской академии. В работе мне частенько помогала учёный-библиограф Наталья Николаевна. Память у этой милой старушки была феноменальная. Казалось, в её голове уместился весь систематический каталог библиотеки. Господи, если бы тогда я знал, что Наталья Николаевна – дочь профессора Холодковского, мне бы не пришлось ограничиваться лишь эпизодами из жизни её замечательного отца...

1913 год. Столик стоял на открытом балконе уютного шале. Ветер порывами доносил запахи цветущих альпийских лугов. Вершины гор обрели розовый цвет. Академик Скрябин допил кофе, вытер губы салфеткой:

– Превосходный денёк, коллега. Ну, что? На прогулку?

Его собеседник швейцарский учёный Фурман, рассеянно глянув на него, сказал:

– Я полагаю, что в России самая распространённая фамилия Иванов. Оказывается, не менее популярна – Холодковский.

Константин Иванович удивлённо пожал плечами:

– Из чего это вы заключили?

– А как же! Я по литературе знаю уже двух русских зоологов: одного – крупного энтомолога, а другого – автора ряда интересных работ по гельминтологии. Кроме того, я слышал, что третий Холодковский очень удачно перевёл на русский язык “Фауста” Гёте.

– Позволю себе уточнить – это одно и то же лицо.

– Надеюсь, вы шутите?

– Ничуть. Такая вот многогранная личность. И это далеко не полный перечень его талантов: его перу принадлежат книги о жизни и деятельности учёных: Мальпиги, Свамдердама, Бэра, Мечникова. Он даже несколько романов перевёл.

– Невероятно!..

В 1917 году в Российской Академии наук состоялось 22-е присуждение премии имени А. С. Пушкина. На соискание было представлено двадцать сочинений, как оригинальных, так и переводных. Комиссия, в которую входили А. Ф. Кони, Д. Н. Овсяннико-Куликовский, Н. А. Котляревский и другие академики, закрытой баллотировкой присудила “полную Пушкинскую премию” Николаю Александровичу Холодковскому за перевод “Фауста” Гёте, изданный Девриеном в 1914 году.

При жизни поэта вышло двенадцать изданий “Фауста”, массовыми тиражами трагедия выходила и в наше время.

“Юноша бледный со взором горящим...” – именно таким вот брусковским юношей и представляется мне Николай Александрович Холодковский в молодости, таким он выглядит и на даггеротипе семидесятых годов прошлого столетия: острый взгляд из-под стёкол очков, какие носили разночинцы, тонкие, нервные губы, белый стоячий воротничок и бархатный шнурок вместо галстука.

Судьба его чем-то сходна с судьбой Александра Порфирьевича Бородина: оба из семьи военных врачей и поступление в Военно-медицинскую академию – скорее дань семейной традиции, чем призванию. Если для Бородина крёстным отцом стал великий русский химик Зинин, то для Холодковского – профессор академии, известный энтомолог Брандт. Холодковский нередко повторял, что в его жизни большую роль сыграли два человека: в литературной – писатель Иван Сократович Ремезов (Николай Александрович дружил с сыном писателя), в научной – Брандт. Хотя учёный немец был не чета милейшему Зинину – холоден, ворчлив, патологически скуп. Первую научную командировку в Нормандию, в которой Холодковский сопровождал профессора Брандта, студенту пришлось оплачивать из собственных скудных средств.

Низкорослый, слабый физически, впечатлительный студент Военно-медицинской академии Холодковский с трудом привыкал к учёбе в академии. Угнетали муштра, необходимость носить форму. Душевно Николай отдыхал только на кафедре зоологии и сравнительной анатомии. Однажды он попросил профессора Брандта показать, как производится препарирование насекомых. Профессор пригласил пытливого ученика домой и продемонстрировал технику анатомирования черного таракана. Холодковский потрясённо наблюдал за искусными манипуляциями Брандта и, когда на тёмное дно препаровальной ванночки легла нервная цепочка насекомого, студент уже сделал свой научный выбор. Не случайно через несколько лет докторская диссертация Холодковского была посвящена изучению тараканов и называлась: “Эмбриональное развитие прусака”.

А в марте 1878 года журнал “Вестник Европы” опубликовал в переводе Холодковского две сцены из “Фауста”: “Погреб Ауэрбаха” и “Вальпургиеву ночь”. В том же году вышло в свет полное издание трагедии Гёте в переводе студента Военно-медицинской академии.

Вера Фёдоровна Комиссаржевская, исполнительница роли Маргариты в “Фаусте”, вспоминала, что постановщик трагедии, литератор П. П. Гнедич, при выборе русского текста для этой постановки предпочёл перевод Николая Александровича Холодковского.

Курс Военно-медицинской академии преодолён, одновременно Николай Александрович сдает экстерном экзамены на физико-математическом факультете университета и получает степень кандидата естественных наук. К лекторской работе Холодковский так и не приступил, какое-то время преподавал естествознание в различных пансионатах, давал частные уроки древних языков. Магистерская и докторская диссертации, кафедры в Лесном институте, затем в Военно-медицинской академии. Та самая, которой до самой смерти руководил Брандт. У Холодковского с учителем были сложные отношения. Они годами не разговаривали и только переписывались. И всё же, когда старый профессор уходил в мир иной, на своём месте он хотел видеть только Холодковского.

Научное наследие Холодковского огромно, но не менее значителен его вклад в отечественную литературу. Известный писатель А. В. Амфитеатов на одном из собраний, посвящённых памяти Холодковского, сказал: “Если бы Николай Александрович не был поэтом и дал бы нам только свои научные работы, статьи и учебники, то мы, писатели, считали бы его своим за один язык его работ”.

Александр Блок, отмечая поэтические достоинства “Фауста” в переводе Николая Александровича Холодковского, писал: “. . . Комментарий Холодковского в целом. . . есть блестящая и необыкновенно поэтическая работа, написанная на том русском языке, на котором теперь писать несколько разучились”.

В переводе Холодковского издавались драмы Шекспира “Юлий Цезарь” и “Ричард II”, произведения Гёте, Шиллера, Байрона, Гейне, Лонгфелло, Ленау. Для издательства “Всемирная литература” он перевёл несколько романов, поэм и других произведений Геббеля, Гаута, Вильбрэндта. Он пишет и свои оригинальные стихи. Правда, о них знают лишь близкие друзья и родные. После смерти поэта издательство Сойкина и Афанасьева выпустило в 1922 году небольшим тиражом сборник “Гербарий моей дочери”, давно ставший библиографической редкостью. Боже мой, я мог бы услышать эти стихи из уст дочери Холодковского Натальи Николаевны! Не услышал. И теперь уже никогда не услышу. . .

Последняя сценка из жизни поэта.

Сумрачным зимним деньком 1920 года к Гренадёрскому мосту медленно брёл согнутый старичок в подшитых валенках, поношенной шубе, башлыке, густо хваченном желтым инеем. Старичок волок за собой детские санки, к ним привязан был свёрток, обёрнутый чистой тряпицей. Редкие прохожие принимали его за пригородного крестьянина, решившего навестить родственников в Петербурге. Мороз жал. Дым из труб столбами упирался в низкое небо.

Гренадёрский мост оказался закрыт, и старику пришлось спускаться на лёд. Несколько раз он падал, но упрямо поднимался и брёл среди ледяных застругов к противоположному берегу. Долог путь от Нижегородской улицы до Карповки. Оставшиеся силы ушли на то, чтобы одолеть подъём. Потом старик долго сидел на санках, пытаясь унять одышку и ноющую боль в спине. Стали немать кончики пальцев на руках. “А все же я дошёл!” – громко сказал старик и молодо рассмеялся.

В квартире музыкального критика Виктора Павловича Коломейцева было чадно, в “буржуйке” потрескивали сырые дрова, дым слоями смещался к потолку. Хозяин в демисезонном пальто с оренбургским платком на плечах, раздёрнув тяжёлые шторы, выглянул в окно:

– Лев Васильевич, голубчик, неужто он придёт? Морозище-то какой нынче! И ведь извозчика не сыщешь.

– Придёт, раз послал записку, – писатель Успенский присел к “буржуйке” и потёр руки.

– Но какая надобность идти через весь город?

– Не знаю. Хотя и догадываюсь.

В это время послышался слабый стук в дверь. Коломейцев вздрогнул:

– Опять “товарищи” с обыском?

– Не похоже. В таких случаях стучат прикладами. Я открою.

Лев Васильевич Успенский, шаркая обрезанными валенками, побрёл в прихожую и с трудом отворил дверь.

– Вам кого, сударь? – удивлённо спросил он, разглядывая сгорбленно-го старика.

Старик усмехнулся:

– Не признали, Лев Васильевич? Да и как признать при таком маскараде.

– Профессор Холодковский? Николай Александрович?

– Он самый. Точнее, его тень. Помогите с санками.

– Конечно, конечно! Проходите в гостиную, там печка. Дымно, зато тепло. Сейчас чайку выпьем, настоящего, из старых запасов.

Коломейцев помог профессору снять башлык, расстегнул шубу, усадил в кресло. Руки у него при этом мелко дрожали.

– Николай Александрович, милый вы мой, какая надобность идти в такой мороз? Вы ведь и нездоровы.

Холодковский блеснул стёклами очков:

– Не будем строить иллюзий, дражайший Виктор Павлович, – дни мои сочтены. . . Как говорят мои коллеги, прогноз пессимистический. Да и диагноз я знаю. Посему я и совершил это путешествие из “варяг в греки”. . . Вы переводите “Фауста”, то есть как бы продолжаете дело моей жизни. Там, на санках, черновики моих переводов, необходимая литература – в нынешнем хаосе вы её не найдёте. А так – всё подспорье. Разберётесь со временем. А я отдохну, согреюсь и назад. Господа, а где обещанный чай? Приму в качестве гонорара. . .

Николай Александрович Холодковский умер через три месяца, похоронен на Иоанно-Богославском кладбище. Сердце его и мозг в соответствии с завещанием умершего были переданы на хранение на его кафедру Военно-медицинской академии, которой он много лет руководил.

5. Чердак оседлой кошки

Музей Военно-медицинской академии был создан в 1967 году по инициативе профессора, генерал-лейтенанта медицинской службы Анатолия Сергеевича Георгиевского. Анатолия Сергеевича знал и помнил я ещё с курсантской поры, а ближе познакомился в начале восьмидесятых, когда собирал материал для книги о военном враче и писателе П. А. Илинском. В одной из монографий профессора мой герой упоминается в связи с Освободительной войной на Балканах 1877–1878 годов.

Георгиевский искренне обрадовался, узнав, что я взялся за близкую ему тему, и дал ряд полезных советов.

Музей небольшой и, конечно же, в полной мере не отражает историю старейшего учебного заведения России. И всё же в нём нашлось место для стенда, где представлены книги врачей-писателей, выпускников академии. Есть там и мои сочинения. Нынешней весной, оказавшись в Петербурге, я зашёл в музей, чтобы передать в дар свою новую книгу. Хранитель фондов музея, Николай Матвеевич Шуленин, узнав, над чем я сейчас работаю, заволновался: “Слушай, у нас такой материал есть... Взять хотя бы выпускника академии Николая Николаевича Любимова. Певец, удивительный баритон. Собинов умолял его спеть в Большом театре. А Оппель? Или Братья Боткины, особенно, Сергей Сергеевич? А недавно американцы заинтересовались Николаем Ивановичем Кульбиным, журналист в музей приезжал. О Кульбине уже глава в книге есть, учёный-музыковед написала. Я тебе завтра принесу...”

Утром я держал в руке хорошо изданную книгу “Эхо серебряного века”, автор – Лариса Владимировна Белякова-Казанская. Я пробежал первую страницу и почувствовал первый тёплый толчок в груди, так хорошо знакомый исследователям и писателям...

Квартиру в доходном петербургском доме в Максимилиановском переулке в артистической среде в шутку называли “Чердак оседлой кошки”. В этот час в просторном кабинете “чердака” сидели двое: пианист и театральный критик Николай Николаевич Евреинов и хозяин квартиры, действительный статский советник Николай Иванович Кульбин. Его генеральская шинель, небрежно брошенная в кресло, сохранила формы владельца, красная шёлковая подкладка в свете электрической лампочки казалась сгустком крови. Друзья только что вернулись с Николаевского вокзала, где провожали лидера итальянских футуристов Маринетти.

Евреинов поставил на стол бокал с вином и, прищурившись, глянул на Кульбина: “Какое всё-таки необычное у него лицо... Лоб древнегреческого философа, а глаза... Глаза лукавые. И эта легкомысленная рыжая борода. Он похож на фавна. И одновременно на Януса. Да, да, на Януса”.

На другой день он сделает в дневнике такую запись о Кульбине: “...Лики Януса (учёного, футуриста, врача, богомольца, танцевализатора и пр.) имели все одно начало: волю к театру! К театру!”

Кульбин встал, прошёлся по кабинету, с недоумением сказал:

– Русская печать называет меня главой футуристов. Таким я себя не признаю. Правда, мои идеи легли в основу футуризма в Италии. И Маринетти это не отрицает. Но я многого с футуристами не разделяю, особенно хулиганства бездарной молодёжи, претендующей на гениальность.

Николай Иванович говорил тихим вкрадчивым голосом, но в нём чувствовались и жёсткие нотки. Недаром кто-то из друзей скалambuрил по поводу запальчивости Кульбина в спорах: “Дошёл до кульбинационного пункта”.

– Пожалуй, пожалуй, – Евреинов потёр руки. – Скромность – верное определение своих достоинств. Только ведь и самоуничтожение ни к чему... Хорошо всё-таки, что Маринетти приехал без своего футуристического оркестра. Все эти самодельные трещотки, гудки, пищалки, звонки... Скандал, да и только.

Кульбин рассмеялся:

– Да, это уж был явный перебор. Среди публики и без того брожение.

Взгляните-ка, – Николай Иванович протянул Евреинову лист бумаги с портретом Маринетти. Портрет был написан в кубистической манере. – Как?

– Превосходно! И какая точная психологическая характеристика итальянца! Несколько штрихов – и образ готов. Так же вот Маяковский у вас удачно получился.

Когда друзья простились, Кульбин сел писать письмо художнику Лентулову. Буквы ложились одна к одной: у действительного статского советника по черк был недоctorский. “Я теперь провожу такой взгляд: русское искусство в 1914 году являет собой гегемонию, своё главенство в Европе и всюду. Маринетти идёт навстречу всем нашим желаниям и предлагает “параллельные выступления” с сохранением полной свободы и самостоятельности русским художникам. Он предлагает пропагандировать мою новую музыку...”

Скрипнуло перо. В чернильнице иссякли чернила. Кульбин вздохнул, погладил бородку. В эту минуту он и в самом деле напоминал стареющего фавна.

Сведения о первой половине жизни Кульбина крайне скудны. Родился в 1868 году в семье чиновника Главного штаба. Мальчик рано проявил интерес к искусству, хорошо рисовал, играл на скрипке, фортепиано, много читал. Отец, противник всякой “богеми”, настоял на том, чтобы сын поступил в Военно-медицинскую академию. О студенческих годах Кульбина тоже известно мало: способный юноша, театрал (у семьи была абониrowана ложа на дневные спектакли в Мариинском театре), с увлечением занимался рисунком в Императорской школе Общества поощрения художеств, музицировал, участвовал в студенческих спектаклях. Академию закончил с отличием и был оставлен на кафедре профессора Ф. И. Пастернацкого. В 1893 году Николай Иванович защитил докторскую диссертацию на тему: “Алкоголизм. К вопросу о влиянии хронического отравления этиловым спиртом и сивушными маслами на животных”.

Карьера молодого военного врача складывалась удачно. К сорока годам он действительный статский советник, приват-доцент Военно-медицинской академии, врач Главного штаба, автор более тридцати научных работ. Под его редакцией вышел “Учебник военной гигиены для подготовки офицеров запаса и курсов военного времени”. Ему принадлежит и ряд изобретений в области медицины: перкутометр – оригинальный молоточек для постукивания с определённой силой ударов, автоматический скарификатор – нож для получения капли крови для анализов и другие.

В издании “Наши деятели по медицине”, вышедшем в 1910 году, о Николае Ивановиче Кульбине сказано следующее: “На основе психологических исследований, проведённых им при помощи новых инструментов, устроенных им с этой целью, Кульбин разработал способы количественного анализа психики (чувствительности) и теорию художественного творчества, прилагаемую им к музыке, изобразительным искусствам и словесности”.

По сути, он явился одним из создателей методики психофизиологического отбора военных специалистов, сейчас широко распространённой в армии и на флоте.

После сорока лет в жизни удачливого штатского генерала произошёл неожиданный поворот: теперь большую часть времени он отдаёт художественному творчеству – изобразительному искусству, музыке, театру. Впрочем, столь ли уж этот поворот неожидан?

Деятельность Николая Ивановича Кульбина многогранна. Он рисовальщик, живописец, декоратор, теоретик искусства, блестящий лектор, организатор художественных выставок. Его называли “Отцом русского авангарда”, он сыграл значительную роль в творчестве многих художников-новаторов. Сохранилась фотография “Пасха у футуристов”, на которой запечатлена группа футуристов в мастерской Кульбина: Маяковский, Лурье, Каменский. Определённое влияние оказал он на Мейерхольда, Шостаковича, Дроздова, Гнесина. Многие из современников сравнивали Кульбина с Вячеславом Ивановым.

В живописи Кульбин – импрессионист. Занимался и графикой. Ему принадлежат портреты Хлебникова, Бурлюка, Евреинова, Маяковского, Кузьмина. В 1908 году он создал группу “Треугольник” и организовал первую авангардную выставку “Современные течения в искусстве”.

В 1909 году состоялась выставка “Импрессионисты”, в которой приняли участие художники А. Кручёных, В. Каменский, М. Матюшин. Под редакцией

Кульбина вышел сборник “Студия импрессионистов” – одно из первых изданий русского авангарда.

В 1912 году Общество поощрения художеств организовало персональную выставку Кульбина. К ней был выпущен каталог со статьями С. Городецкого, С. Судейкина, Н. Евреинова. Каталог этот я держал в руках, он хранится в Российской государственной библиотеке. По поводу выставки Александр Блок написал в дневнике: “На вернисаж выставки Кульбина, на которую приглашали нас с Любой, пошла она... Вечером пошла чествовать Кульбина в “Бродячей собаке”.

Блок не принимал авангарда, но его отношение к Кульбину неоднозначно. В дневнике мы находим такую запись: “Вечером пришёл к нам Николай Иванович Кульбин, принёс нам цветов, очень хороших. Я не чувствую к нему полного доверия, но многое из того, что он говорил, было очень верно и очень нужно. Он говорил о художественной гигиене, о том, что художнику надо знать чужие отрасли искусства, естественные науки, нельзя засиживаться”.

Эти мысли Николай Иванович развил в своём докладе “Свободное искусство как основа жизни”, прочитанном в Москве, в Политехническом музее. Своё выступление он иллюстрировал репродукциями, экскурсами в область естественных наук, музыкой.

Это под влиянием Кульбина художник Филонов попытался в своих картинах использовать достижения современной физики, в частности, теорию строения атомного ядра.

В докладах Кульбин часто приводил слова своего учителя, профессора-гигиениста Доброславина: “Наукой мы называем ту степень познания предметов или явлений, при которой их свойства или условия взаимодействия определяются до того отчётливо и ясно, что могут быть выражены какою-либо мерою – числом”.

Кульбин вслед за Андреем Белым и Владимиром Соловьёвым считал треугольник неким символом бытия. Свою теорию искусства он тоже строил на триединстве слова, музыки и пластики. В живописи признавал только единство трёх цветов: синего, красного и жёлтого.

Николай Иванович принимал участие во многих выставках. Его картины экспонировались в художественной галерее “Венок”, “Салоне Издебского”, “Бубновом валете”. В 1911–1912 годах он принимал участие в работе Всероссийского съезда художников.

Поразительны исследования Кульбина в области музыки. В своей теоретической работе “Свободная музыка” он писал: “Свободная музыка совершается по тем же законам, как и музыка природы”. По его мнению, “музыка помогает видеть краски, схватывать общее, художественно мыслить...” Интересны размышления Кульбина о природе “цветного слуха”. В основу этой теории он положил современные достижения в области физиологии и психологии. О синтезе звука и цвета мечтал Кандинский.

Девяносто лет спустя современный петербургский композитор Геннадий Белов поставил балет “Симфония цвета” по светопластическому сценарию хореографа Анастасии Успенской. Это ли не воплощение идеи Кульбина, его “цветной музыки”!

Кульбин предсказал и появление электронной музыки: в его теоретических работах не раз подчёркивалась связь музыки с математикой и физикой.

Кульбин и театр – тема отдельная. Более десяти лет он дружил с сокрушителем старой театральной системы Николаем Николаевичем Евреиновым, оформил две его книги: “Театр как таковой” и “Театр для себя”. Кульбин и Евреинов, совместно с Прониным, открыли знаменитое кабаре “Бродячая собака”. Николай Иванович декорировал многие вечера в кабаре, при его участии в Терриоках был создан театр Товарищества актёров, художников, писателей и музыкантов, где режиссёром был Мейерхольд. Кульбин оформил постановку в Терриоках “Виноваты, не виноваты” Стриндберга. Спектакль предвосхитил футуристические постановки “Союза молодёжи” в 1913 году и супрематические композиции Малевича. Так, сцену Кульбин украсил портретом Стриндберга, выполненным в кубистической манере, вся же сцена заключена в чёрную рамку, напоминающую паспарту (“Чёрный квадрат” Малевича появился позже).

Николай Иванович, развивая новаторские идеи Евреинова, создал свою теорию “танцевализации жизни” и даже основал “Общество свободного танца” (вспомним “Общество приятных телодвижений” Бородина). Это Общество

участвовало в “Весенних праздниках искусств” в Екатеринодаре, нынешнем Краснодаре. Кульбин не раз гостил в моём родном городе, его друг – композитор, музыкальный критик и педагог Анатолий Николаевич Дроздов – в 1911–1916 годах был директором и преподавателем екатеринодарского музыкального училища. Я хорошо помню это мрачноватое здание на улице Ворошилова, которой, к счастью, вернули прежнее название – Гимназическая.

Кульбина глубоко уважал Леонид Андреев. В 1915 году он пригласил Николая Ивановича на дачу на Чёрной речке, читал ему свою новую пьесу “Тот, кто получает пощечины” и по его рекомендации внёс в текст пьесы ряд исправлений.

О масштабах личности Кульбина свидетельствует хотя бы такой факт: именно по его настоянию в Россию были приглашены деятели мировой культуры: австрийский композитор Шенберг и итальянский футурист Маринетти.

Умер Кульбин в марте 1917 года, когда вместе с революцией его футуристические идеи, казалось бы, начали воплощаться в жизнь... Игорь Северянин проводил его в лучший мир эпитафией, где были такие строки:

*Новатор в живописи, доктор
И Дон Жуан, и генерал.
А сколько шло к нему дорог-то!
Кто, только кто его не знал!..*

А дом в Максимилиановском переулке (ныне переулок Пирогова) стоит и сейчас. Интересно, кто ныне живёт на “Чердаке оседлой кошки”?..

6. Мой друг Генрих (улыбнёмся в послесловии)

Тогда он ещё был рядовым слушателем Военно-медицинской академии. В его характере странным образом уживались жёсткость и мягкость, едкая ироничность и наивность, простодушная доверчивость и пугающая пронизательность. В зависимости от душевного состояния глаза Генриха меняли цвет: от ясно-голубого до густо-синего, розового. И выражали то предельную сосредоточенность будущего исследователя, то детское любопытство, то теплоту и даже нежность. Мне не раз приходилось видеть глаза Генриха в просвете между боксёрскими перчатками, – это был взгляд бойца. Мы вместе занимались в секции бокса, я готовился к первенству Ленинградского гарнизона, и на тот случай, если противник окажется выше меня ростом, тренер иногда устраивал нам спарринг. Генрих только ещё осваивал азы кулачного боя, но уже было видно, что он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать первоклассным боксёром: скоростью, врождённым чувством дистанции, мощным ударом справа и неукротимой волей к победе.

Впрочем, давно известно: талантливый человек талантлив во многом. Лермонтов и Маяковский хорошо рисовали, Пирогов писал стихи, а Менделеев изготавливал чемоданы, которым по качеству не было равных в Петербурге. Купцы и мещане уважительно называли его “чемоданных дел мастером”.

Талант же Генриха заключался в том, что он обладал редкой по тем временам способностью подбирать галстуки в тон костюма. Родители его преподавали в провинциальном университете, и он мог себе позволить шить костюм у модного портного Алексеева. Слушателям пятого курса академии в свободное от службы время разрешалось переодеваться в гражданское платье. Добавим, что стоял конец пятидесятых годов, самый разгар “оттепели”. По Невскому разгуливали “стиляги”, на студенческих вечерах тайком танцевали рок-н-ролл, молодёжь зачитывалась Хемингуэем и Ремарком, а в знаменитом кафе-мороженом на Невском, прозванном “Лягушатником”, подавали самые настоящие коктейли. Я до сих пор помню их названия: “Столичный”, “Шампань”, “Крепкий”. Но когда на тебе курсантская форма “хебе”, кирзовые сапоги, то ты как бы выпадаешь из праздничной, яркой толпы и в лучшем случае можешь вызвать чувство снисходительного сожаления: эх, служивый!

Именно это обстоятельство Генрих и использовал в одной щекотливой ситуации. А было так. На одном из танцевальных вечеров в клубе академии он познакомился с хорошей десятиклассницей. По-видимому, это был тот случай, который описал Шекспир, сочиняя историю Ромео и Юлии.

Наш благородный герой, естественно, прилично объяснился, предложил возлюбленной руку и сердце, получил восторженное, со слезами, согласие и предложение скрепить супружеские узы... тайно. Ещё лучше – бежать, бежать, куда глаза глядят, например, в Гималаи, а уж там... При этом у невесты дрожали губы и скатывались по щекам круглые, совсем ещё детские слёзы. Из её сбивчивых объяснений Генрих уяснил, что всё дело в её маман, профессорской дочке из “бывших”, чуть ли не столбовой дворянке, которая терпеть не может военных и мечтает о зяте-дипломате или, на худой конец – виртуозе из консерватории.

Наш герой в консерватории не обучался, а закончил лишь музыкальную школу по классу рояля, довольно свободно говорил по-французски и на каком-нибудь дипломатическом приёме, я думаю, не ударил бы лицом в грязь. Человеком он, к тому же, был разумным, и сама мысль похитить невесту и бежать показала ему несколько экстравагантной. Генрих шершавой солдатской ладонью вытер слёзы со щёк любимой и примирительно сказал, что познакомиться с её родителями он, как честный человек, обязан, но это будет не более чем визит вежливости. Затем, после скромной студенческой свадьбы они переедут к его тётке на Лиговку, комнаты в десять квадратных метров им вполне хватит для счастья.

По согласованию сторон “смотрины” жениха были назначены на субботний вечер. Генрих тщательно подготовился. У знакомого солдата из кадровой роты академии он одолжил кирзовые сапоги б/у, то есть бывшие в употреблении, сорок шестого размера, рюкзак с вытравленной на нем хлоркой надписью “ДМБ-59”. В рюкзак предусмотрительно были положены три куска чёрного хозяйственного мыла, известного знатокам своим исключительно тонким ароматом. Натянул мундир “второго срока” и битый час отрабатывал перед зеркалом зверски идиотское выражение на лице. Нужно сказать, человеком он был артистичным, и образ, который он сконструировал, вполне мог потрясти и менее тонкую натуру, чем его будущая теща.

Дом на Петроградской стороне, в котором жила невеста, говорил о высоком социальном положении его жильцов: консьержка, широкая мраморная лестница с медными, надраенными перилами, бесшумный лифт с зеркалом, перед которым наш герой внёс последние штрихи в свой облик и остался вполне доволен.

Дальше события развивались строго по сценарию. Когда распахнулась тяжёлая дубовая дверь и на пороге возникла дама в строгом вечернем туалете, Генрих, обхватив её лапищей, звучно чмокнул в щеку и загрохотал, уместно стилизуя речь под вологодского деревенского жителя: “Со свиданьем, маманя! Я тут дак гостинец принёс, всё в хозяйстве сгодится!” – с этими словами он вручил оторопевшей теще извлечённые из рюкзака вышеупомянутые куски мыла, завёрнутые в портянку. Зятек и в дальнейшем вёл себя подобающим образом: дико и без всякого повода ржал, ел салат руками, и, чтобы освежиться, хлопнул водички из полоскательницы, предназначенной для омовения рук после дичи. В промежутках между чавканьем он доверительно рассказал, что трипачок он свой вылечил и в роду у них все здоровенькие, разве только родной братец полудурок, так ведь это не страшно, потому что он содержится в колонии строгого режима за изнасилование. Тёща была близка к обмороку, дочь, разгадав игру возлюбленного, сидела тихо, как мышка, смиренно ожидая катастрофы, и только папаша – невзрачнейший, лысый, в подтяжках, – вёл себя с подозрительным спокойствием: кушал, попил шампанское, и вид у него был такой, словно происходящее не имеет к нему никакого отношения.

Когда жених, смачно высморкавшись в скатерть старинного голландского полотна, извлёк из кармана галифе пачку махорки и стал, сопя, изготавливать самокрутку, папаша встал и сказал полумёртвым дамам: “Ну, вы тут к чаю накрывайте, а мы с молодым человеком покурим”.

Первое, что увидел Генрих в кабинете, была тужурка с погонами генерал-лейтенанта, небрежно повешенная на спинку стула. Будущий тесть, осторожно прикрыв дверь, схватил гостя за грудки и, наливаясь краснотой, шёпотом спросил: “Ты что же, стервец, представление устраиваешь? Не будь ты зятем, я бы тебя прямо сейчас упёк на пятнадцать суток на губу, на хлеб и воду! Тебе же, дураку, с этими бабами жить, а ты выламываешься!” Далее генерал несколько минут крыл Генриха простым вологодским матом, который, пожа-

луй, нельзя расшифровать даже с помощью толкового словаря “Русский мат”, составленного таким знатоком, как профессор Татьяна Васильевна Ахметова. Но при этом он всё время с испугом косился на дверь. Передохнув, генерал полез в шкаф – Герман подумал, что словесная экзекуция закономерно перейдёт в физическую, – в старинных шкафах непременно должны храниться военные, выделанные из буйволиной кожи ремни. Но тесть извлёк початую бутылку коньяку, два сомнительной чистоты гранёных стакана и вполне родственному предложил: “А теперь, Геня, давай выпьем, как мужики, а то у меня от шампанского брюхо пучит. И не шуткуй больше, очень тебя прошу”.

Через полчаса мужчины вышли из кабинета в преображенном виде. Генрих принёс извинения за “актёрский этюд”, поцеловал теще ручку, сказал ей комплимент на вполне сносном французском и повёл себя, как на дипломатическом рауте. Маман была настолько восхищена им, что между ней и дочерью произошла даже лёгкая сценка ревности, при этом дочь проявила удивительную твёрдость.

Мой друг стал крупным учёным, доктором наук, профессором, наконец, генералом, имя его названо среди тех, кем заслуженно гордится Военно-медицинская академия. Но для меня он остался тем самым парнем в “хе-бе”, вылинявшей пилотке и кирзовых сапогах, с кем мы, возвращаясь с тренировок, шли сентябрьским днём по Литейному мосту, и наполненный солнцем ветреный простор Невы стал парусом на корабле моих воспоминаний. . .

*С теплотой и радостью поздравляем
нашего постоянного автора и друга,
замечательного русского писателя Юрия Пахомова
(Юрия Николаевича Носова)
с 80-летием!*